



## СОДЕРЖАНИЕ

*Виктор Астафьев*

Война, какой я ее видел

В окопах . . . . .	9
Отповедь генералам . . . . .	32
О Дне Победы . . . . .	44

*Григорий Бакланов*

На черном фронтовом снегу

Война . . . . .	52
Северо-Западный фронт . . . . .	62
Артиллерийское училище . . . . .	68
Фронтная фотография . . . . .	78
Цена солдатской жизни . . . . .	81
Госпиталь . . . . .	85
Эшелон . . . . .	87
О победе . . . . .	93

*Василий Быков*

Жестокая правда войны

На восток . . . . .	100
Запасной полк . . . . .	105
Пехотное училище . . . . .	109
На фронте . . . . .	112
В наступлении . . . . .	119
Похоронка . . . . .	124
На минном поле . . . . .	128
В госпитале . . . . .	132
Снова на фронте . . . . .	135

Моя комендатура . . . . .	142
Несостоявшееся награждение . . . . .	146
Показательный расстрел . . . . .	151
Второе ранение . . . . .	155
Немецкие контрудары . . . . .	163
«Дух пацифизма» . . . . .	170
Необычные встречи . . . . .	176
Отобранные трофеи . . . . .	180
Послесловие . . . . .	182

*Борис Васильев*

Страшное лето 1941 года

«Война, мальчики...» . . . . .	197
Под бомбами . . . . .	204
В окружении . . . . .	217
В десанниках . . . . .	243

*Юрий Нагибин*

Война с черного хода

На Волховский фронт . . . . .	256
«Хреновый пяточок» . . . . .	260
Женщина в поезде . . . . .	274
Четвертое измерение . . . . .	282
Жена бригаврача . . . . .	300

*Булат Окуджава*

Из школы на фронт

Утро красит нежным светом... . . . . .	317
Уроки музыки . . . . .	325

*Виктор Розов*

В московском ополчении

Госпиталь . . . . .	342
Начало . . . . .	346

Решение . . . . .	351
На Бородинском поле . . . . .	353
Дикая утка . . . . .	358
Глупость . . . . .	359
Приговоренный . . . . .	360
После боя . . . . .	361
Белая булка и музыка . . . . .	362
Кусочек сахара . . . . .	364
Судьба . . . . .	365

*Виктор Астафьев*

## ВОЙНА, КАКОЙ Я ЕЕ ВИДЕЛ



*Виктор Петрович Астафьев (1924 – 2001) родился в селе Овсянка Красноярского края. В 1942 году ушел добровольцем на фронт, несмотря на то, что как железнодорожник имел бронь. Был связистом 92-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 17-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования (РГК). После тяжелого ранения в конце войны служил во внутренних войсках на Западной Украине. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией».*

## В окопах

До войны я жил в детдоме, потом окончил школу ФЗО и трудился составителем поездов возле Красноярска.

В 42-м ушел добровольцем в армию.

Воевал я в 17-й артиллерийской, ордена Ленина, Суворова, Богдана Хмельницкого, Красного Знамени, дивизии прорыва, входившей в состав 7-го артиллерийского корпуса основной ударной силы 1-го Украинского фронта. Корпус был резервом Главного командования. Начал он создаваться вместе с другими артиллерийскими соединениями подобного характера по инициативе крупных специалистов артиллерии, каковым был и командир нашей дивизии Сергей Сергеевич Волкенштейн, потомственный артиллерист, человек, крупный не только телом — фигурой, но и натурой, человек с совершенно удивительной биографией, вполне пригодной для захватывающего дух детективного романа. Жаль, что я не умею писать детективы. Так вот, дивизии прорыва, к удивлению, и не только моему, начали создаваться, когда враг был еще у стен Москвы.

В начале 1942 года 17-я артиллерийская дивизия приняла боевое крещение на Волховском фронте. Я тогда еще учился в школе ФЗО, приобретал железнодорожную профессию и, как говорится, «ни ухом ни рылом» не ведал о существовании подобного военного подразделения, точнее — соединения, а будущий командир «моей» дивизии в это время не где-нибудь, а в Красноярске сдавал благополучно им эвакуированное Киевское артиллерийское училище, которым какое-то время он командовал.

Вот именно — соединения! В состав дивизии входили все системы орудий и минометов, имевшихся на вооружении Красной Армии — от 120-миллиметрового миномета и до 203-миллиметровой гаубицы. Только истребительных, противотанковых полков и бригад в дивизии было шесть. Несколько полков и бригад среднего калибра и большое количество орудий — полторасоток, совершенного, новейшего

по тому времени образца. Одна дивизия такого характера и масштаба обладала огромной ударной и разрушительной силой, а ведь в состав 7-го артиллерийского корпуса входило две, затем три дивизии: 17-я, 16-я и 13-я. После объединения Воронежского и Степного фронтов в 1-й Украинский не раз и не два артиллерийские подготовки и прорывы осуществлялись 7-м артиллерийским корпусом с приданным и ему реактивной артиллерией и вспомогательной артиллерией стрелковых и танковых частей.

Первый прорыв наш корпус делал на Брянском фронте, во фланг Курско-Белгородской дуги. И когда «началось!», когда закачалась земля под ногами, не стало видно неба и заволокло противоположный берег Оки дымом, я, совершенно потеряв «рассуждение», подумал: «Вот бы мою бабушку сюда!..» Зачем бабушку? К чему ее сюда? — этого я и по сию пору объяснить не сумею. Очень уж бабушка моя любила меня вышутить, попугать, разыграть, так вот и мне, видать, тоже «попугать» ее захотелось.

Сперва нам, солдатам 17-й дивизии, очень глянулось, что мы не просто солдаты, но еще и из резерва Главного командования. Однако скоро перестало нам это дело нравиться. Полки и бригады дивизии при наступлении придавались стрелковым и танковым соединениям, и командиры их зачастую обращались с нами точь-в-точь, как директора совхозов и председатели колхозов обращались с техникой и механизаторами, присланными с юга на уборочную в Сибирь — снабжали, кормили и награждали нас в последнюю очередь, бросали вперед на прямую наводку, затыкали нами «дыры» в первую очередь. Командиры стрелковых полков и танковых частей были еще ведь и хозяева в своем «хозяйстве», хитрованы немалые, часто прижимистые, себе на уме и, конечно же, берегли «свое добро» как умели, и у кого поднимется рука или повернется язык осудить их за это?

Случалось, и не раз: зайдем огневые позиции, выкинем провода и средства наблюдения на наблюдательный пункт, окопаемся, изготовимся отдохнуть, чтоб завтра вступить в бой, как вдруг команда «сниматься» топать, затем ехать куда-

то. На фронт ехали из Калуги ночами, половину машин теряли и потом целый день их разыскивали, плюнув на всякие условности, связанные со словами «военная тайна». Но когда обстрелялись, приобрели опыт, на виду у противника, зачастую по неизвестному или известному лишь командиру дивизиона и начальнику штаба маршруту, в дождь, в снег, в слякоть мчались на новое место затыкать еще одну «дыру», — почти на себе машины и орудия тащили — и никаких ЧП, никто почти не терялся во тьме, не отставал, ибо отстанешь, потеряешься, считай, пропал: «дыра» она и есть «дыра», там наши люди погибают, там танки противника стирают в порошок, втаптывают в грязь наши полки и батальоны, — корячиться некогда.

Один раз тащили-тащили на плечах и на горбу полуторку взвода управления со связью, со стереотрубой, бусолью, планшетами и прочим имуществом, и встала машина, не идет: это мы за ночь, то запрыгивая в кузов, то обратно, натаскали полный кузов грязи, перегрузили бедную полуторку. Выбрасывали грязь кто лопатами, кто котелками и касками, кто горстями и к месту сосредоточения бригады успели почти вовремя. Командир дивизиона крутенок нравом до первого ранения был, мог и пинка отвесить, рассказывал: «Толкали, толкали, качали, качали как-то машину и все, перестала двигаться техника. Выскочил я из кабины с фонариком, ну, думаю, сейчас я вам, разгильдяя, дам разгон! Осветил фонариком, а вы, человек двадцать, облепили кузов машины, оперлись на него, кто по колено, кто по пояс в грязи — спите... Я аж застонал. И хоть гонористый был — двадцать шесть лет всего, и такая власть! — уж без гонору давай уговаривать: „Братцы! Ребятки! Просыпайтесь! Отстанем от своей колонны — погибнем...»

Бывали и исключения в обращении с нами, с «резервом Главного командования». 27-я армия под командованием генерала Трофименко взяла город Ахтырку и, углубляясь, начала расширять прорыв. Немцы решили отсечь армию, окружить, и нанесли встречный танковый удар со стороны Краснотутска и Богодухова (пишу по памяти и прошу прощения,



если она сохранила не все точности, тем более «стратегические», — ведь я был всего лишь бойцом, и с моей «кочки зрения» в самом деле не так уж много видно было).

Наша 92-я гаубичная бригада, находясь на марше, оказалась как раз в том месте, где осуществлялся танковый прорыв. Поступил приказ: занять оборону и задержать танки до подхода других полков и бригад дивизии. По фронтовой терминологии это значит: мы попали «на наковальню». А гаубицы в 92-й бригаде тульские «шнейдеровки» образца 1908 года! Ствол орудия для первого выстрела накатывался руками, снаряд в ствол досылался банником, станина нераздвижная, поворот люльки и ствола всего на половину градусов против современных пушек и гаубиц, в расчетах наших гаубиц осталась редкая и дикая должность — «хоботной» — это обязательно здоровенный мужчина, который за специальные ручки у станины таскает орудие из стороны в сторону, а наводчик у зада своего машет ладонью: «левее-правее». Сохранились сии орудия в каком-то Богом забытом углу, в бухте Петра Великого или еще какой-то на Дальнем Востоке. Форсуны-пушкари, воюющие у скорострельных, ловких орудий, насмехались над нами, прозвища обидные давали.

Но была одна важная особенность у 92-й бригады — в ней со столкновений и дальневосточных конфликтов задержались и сохранились расчеты еще те — кадровые, они за две-три минуты приводили «лайбы», как именовались наши гаубицы на солдатском жаргоне, в боевое положение и со второго или третьего выстрела от фашистских танков летели «лапти» вверх, от пехоты — лохмотья, от блиндажей и дзотов — оцепье.

92-я бригада с честью выполнила свой долг и задержала танки противника под Ахтыркой, выдержав пять часов невысказанно страшного боя. Из 48 орудий осталось полтора, одно — без колеса. Противник потерял более восьмидесяти боевых единиц — машин, танков, тучу пехоты, сопровождавшей танки; небо было в черном дыму от горящих машин, хлеба, подсолнуха, просяных и кукурузных полей, зрело желте-

ших до боя (стоял август), сделались испепеленными, вокруг лежала дымящаяся земля, усеянная трупами.

Вечером на каком-то полустанке из нашего третьего дивизиона собралось около сотни человек, полуобезумевших, оглохших, изорванных, обожженных, с треснувшими губами, со слезящимися от гари и пыли глазами. Мы обнимались, как братья, побывавшие не в небесном, а в настоящем, земном аду, и плакали. Потом попадали кто где и спали так, что нас не могли добудиться, чтобы покормить.

За этот бой все оставшиеся в живых бойцы и офицеры 92-й артбригады были награждены медалями и орденами, а три человека — командир батареи Барданов, замполит командира второго дивизиона Голованов, командир орудия Гайдаш были по представлению генерала Трофименко, командования 7-го арткорпуса и удостоены звания Героя Советского Союза.

С тех пор командующий 27-й армии генерал Трофименко — говорят, очень хороший человек — возлюбил нашу артбригаду, кормили и награждали нас в 27-й вместе со «своими», иногда, быть может, и поперед их, и командующий всегда просил девянносто вторую с ее «лайбами» в придачу и на поддержку в ответственных, тяжелых боях, и наша орденосная бригада, по званию Проскуровская, ни разу вроде бы не подводила тех, кого поддерживала огнем во время наступления и заслоняла нешироким и нетолстым железным щитом в критические моменты.

В 1944 году наши боевые орудия, славные старушки-«лайбы» были заменены стомиллиметровыми пушками новейшего образца. Я их уже не видел, в это время лежал в госпитале, после которого попал в нестроевую часть и демобилизован был в конце 1945 года.

Командир дивизиона рассказывал, что когда «лайбы», чиненные-перечиненные, со сгоревшей на них краской, с заплатами на щитах, пробитых пулями и прогнутых осколками, сдавали в «утиль», на переплавку, командиры батарей и орудий попадали на них грудью и, обнявши их, безутешно плакали.

Тоже вот «штришок» войны, который не придумать и писателю, даже с самым богатым воображением.

\* \* \*

В 1944 году я пропустил, забыл свой день рождения. Эка невидаль, скажете вы. Маршалы, генералы забывали, а тут солдат в обмотках! Но учтите: день рождения у меня 1 Мая! И исполнилось мне в сорок четвертом двадцать лет! Уж если поют, что «в жизни раз бывает восемнадцать лет», то двадцать тем более никогда больше не повторяются. У меня, во всяком разе, не повторились. И знаете, отчего я забыл-то? Что этому предшествовало? Военное наступление. Тяжелейшее, сумбурное, хаотические бои и стычки с окруженным в районе Каменец-Подольска, Чорткова и Скалы противником (нетрудно догадаться «по почерку», что командовал в эту пору 1-м Украинским фронтом маршал Жуков). Об этих боях даже в таком, тщательно отредактированном издании, как «История Второй мировой войны», сказано, что она, операция по ликвидации окруженной группировки немцев в районе Чорткова, была не совсем хорошо подготовлена, что «командованием 1-го Украинского фронта не были своевременно вскрыты изменения направления отхода 1-й танковой армии противника», вследствие чего оно, командование фронта, «не приняло соответствующих мер по усилению войск на направлениях готовящихся врагом ударов...»

Представьте себе, что на самом-то деле было в тех местах, где шли бои, аттестованные как «не совсем удачные» или «не очень хорошо подготовленные». Напрягите воображение!

Рассекать окруженную крупную группировку противника была направлена половина и нашей бригады. Вторая половина слила горючее, отдала снаряды, патроны и оружие отправленным в наступление батареям. Поначалу все шло ладно. В солнечный весенний день двигались мы вперед, раза два постреляли куда-то и на другой день достигли деревень Белая и Черная, совершенно не тронутых войною, богатых, веселых, приветливых.

Закавалерили артиллеристы-молодцы, на гармошках заиграли, самогоночки добыли. Дивчины в роскошных платках запели, заплясали, закружились в танцах вместе с нашими войками: «Гоп, мои казаченьки!..», «Ой, на гори тай жинцы жнуть!..», «Распрягайте, хлопцы, конив...». Некоторые уж поторопились, распрягли...

Слышим-послышим: немцы Черную заняли и просачиваются в Белую! (В этом селе создан был и до отделения Украины от России действовал Музей славы, в котором основные материалы были о нашей артиллерийской бригаде, возможно, и поныне музей еще жив). Это наши войска нажали извне на окруженную группировку противника, она, сокращая зону окружения, отсекала и заключила в кольцо войска, затесавшиеся рассекать ее, в том числе и половину нашей бригады.

Шум, суета, «Всем по коням!» — по машинам значит. Сунулись в одну сторону — немцы, сунулись в другую — немцы, попробовали прорваться обратно через деревню Черную — оттуда нас встретили крупнокалиберными пулеметами, зажгли несколько машин и тяжело ранили командира нашего дивизиона Митрофана Ивановича Воробьева. Добрый, тихий и мужественный, редкостной самовоспитанности человек это был, единственный на моем фронтовом пути офицер, который не матерился. Может, мне, отменному ругателю, дико повезло, ибо слышал я от бойцов, очень даже бывалых и опытных, что таких офицеров не бывает. Бывает! Всегда и всюду мы ощущали, видели рядом уравновешенного, беловолосого, низенького ростом, Володимирской области уроженца — Митрофана Ивановича Воробьева. Он и на Днепровском плацдарме с нами оказался, в первые же часы и дни после переправы, тогда как некоторых офицеров из нашего дивизиона — да и только ли из нашего? — на левом берегу задержали более «важные и неотложные» дела, и вообще часть их, и немалая, завидев Днепр широкий, сразу разучилась плавать по воде, хоть в размахку, хоть по-собачьи, хоть даже в лодке, и на правый, гибельный, берег не спешили...

Колонна из ста примерно машин смешалась, начала пятиться в деревню Белую и здесь разворачиваться для броска

через реку Буг. Тем временем в деревню действительно просочились немецкие автоматчики и взяли в оборот замешкавшихся артиллеристов. Поднялась стрельба, ахнули гранаты, все орудия и машины, упятившиеся в проулки и огороды для того, чтоб развернуться, тут же были подбиты и подожжены, деревня Белая горела уже из края в край. И вот плотно сомкнувшаяся колонна двинулась к мосту, а он уже занят немцами, и мы уже отрезаны и с этой стороны. Но колонна медленно и упорно идет к мосту. «Оружие к бою!» — полетела команда с машины на машину, и мы легли за борта машин с винтовками, карабинами, автоматами; в кузовах открыты ящики с гранатами; на кабины машин выставлены пулеметы, откуда-то даже два станковых взялось.

Приближаемся к мосту, по ту и по другую сторону которого — рукой достать — лежат немцы с пулеметами. Ждут. Каски блестят в сумерках, оружие блестит — и тишина. Ни одного выстрела! Все замерло. Только машины сдержанно работают и идут, идут к мосту. Вот первая машина уже на мосту. Ну, думаем, сейчас начнется! Впустят немцы колонну на мост, зажгут первые и последние машины и сделается каша... Но у моста немцев было не более роты, неполной, потрепанной в боях, у нас же в каждой машине по двадцать-тридцать человек, и все вооружены, все наизготовке — фашисты нам кашу или «кучу малу» устроят, но ведь и мы их перебьем! Нам более деваться некуда, нам выход один — прорываться.

Опытный, видать, у немцев командир роты был, умел считать и сдерживать себя — колонна прошла по мосту без единого выстрела. Предполагали, что хвост колонны уж непременно «отрубят», но и тут у немцев хватило ума «не гнаться за дешевой», — ведь мы за рекой развернем орудия да как влупим по ним прямой наводкой — мясо ж и лохмотья полетят вверх...

Почти стемнело, когда мы остановились на горе, за Бугом, плотной, монолитной колонной. С горы было видно ярко полыхающую деревню, в ней что-то рвалось, брызгало ошметками огня — это горел и рвался боезапас на погибающих машинах, возле которых дрались в окружении и погибали наши расчеты и управленцы.

А в колонне царило взвинченное оживление. Какому-то хохочущему капитану лили в рот из фляжки жидкость и горстями снега терли ему лицо. По машинам пошли фляги. Я пил и удивлялся, что вода нисколько не остужает меня, но во фляге-то оказалась не вода, а самогонка. Я тогда не употреблял еще ничего крепкого, сморился и не помню уж, как металась всю ночь наша колонна по полям и деревьям. К утру началась страшная метель, и нас вместе со многими частями, штабами, госпиталями прихватило и остановило в местечке Оринин, неподалеку от Каменец-Подольска. Середина апреля, трава зеленеет, фиалки, мать-и-мачеха по склонам цветут, яблони и груши цветом набухли, а тут метель, и какая! Хаты до застрех занесло!

Утром донесли; немцы тянутся и тянутся к Оринину, сосредотачиваются для атаки. Мы оставили раненого майора — Митрофана Ивановича, командира нашего — в школе, где временно размещался госпиталь, забитый до потолка ранеными, дали ему две гранаты-лимонки, две обоймы для пистолета, и он сказал нам, виновато потупившимся у дверей: «Идите. Идите... Там, на передовой, вы нужнее...»

Бой шел долгий, кровавый, злобный, неистовый. Патронов и снарядов как у нас, так и у немцев было мало, дело дошло до рукопашных. Сказывали, что в Оринине находится штаб четвертой танковой армии и командующий четвертой генерал Лелюшенко будто бы здесь же, что стоит у него самолет наизготовке, но он не бросает свой штаб, но вот роту охраны и танки из своей охраны бросил в бой...

Если это было так, я кланяюсь от имени всех нас, бывших в Оринине под его командой бойцов, и благодарю старейшего нашего военачальника за то, что не бросил он на растерзание ни нас, ни госпитали, ни безоружные штабы. А ведь знал он, знал примеры и иного порядка: бросали не только штабы, но и армии целиком, и не по одной, по три и по пяти даже некоторые горе-генералы наши...

Вот тогда, в те жестокие и кровопролитные весенние бои под Каменец-Подольском, и затем под Тернополем и забыл я о своем дне рождения. И Бог с ним! Зато внуки мои имеют

возможность отмечать ежегодно именины свои, получать подарки, петь, плясать и радоваться жизни.

\* \* \*

Видите вот, опять меня от «битв и быта войны» унесло вроде бы в сторону. Что же все-таки такое, этот самый быт? Солдатский? Есть у меня в Алтайском крае, в Кытмановском районе, в деревне Червово, фронтовой друг Петр Герасимович Николаенко, как и многие переселенцы с Украины, он к своему хохлацкому, упрямому и самостийному характеру прихватил еще сибирской прямоты, грубости и безотчетного чувства справедливости. Мы с ним прошли все части: стрелковый полк, автополк и в 92-й бригаде попали с пополнением в один дивизион, во взвод управления. Я детдомовщина, более подвержен «мимикрии», приспособлен к народу, к общезжитию, к обстоятельствам, к голоду, к холоду, ко всевозможным лишениям, ловок, мягок когда надо, и «артист» к тому же — могу прикинуться кем и чем угодно. Да и начитан уже был изрядно, защищен и с этой стороны и, чего там скрывать, добытчик харча с подзаборных времен был находчивый.

Мне до какой-то поры удавалось смягчать, иногда заслонять собою прямую простоту сопутника и дружка моего, которая порой бывала хуже воровства. Всем он лепил «правду-матку» в глаза, матерно выражал свои чувства и отношение к командирам. Ну и, естественно, они его недолюбливали, а начальник штаба дивизиона, после ранения Митрофана Ивановича сделавшийся командиром этого подразделения, по военному статусу равному полку, моего громыхалу-корешка просто терпеть не мог, и до того он догнойил, догонял, досрамил, довел Петьку, что однажды, обливаясь слезами, тот взревел по-бугайному: «До танкистов пиду! Визмуть мэнэ водителем — я ж тракторыст. Сгору у тым танку, йего мать!»

Крупный телом — торчит нелепая его фигура где надо и не надо, раздражает командирский глаз, голос рокочущий, хохотун и выпивоха, силы богатырской, нраву, знал я, добрейшего — последний кусок хлеба разделит, из последних сил поможет Петро мой. Когда я вернулся недолеченный из гос-

питаля, култыхаю, бывало, как худая кляча, на передовую, на наблюдательный пункт, с двумя катушками провода на горбу, с оружием, подсумками, телефонным аппаратом и падать начинаю самым натуральным образом, из темноты просунется ручища, снимет с моей взмыленной спины катушки, со звяком забросит их на свои «Да ладно, Петька, — робко начну я перечить, — как-нибудь сам...» «Мовчы, йего мать!» — прорычит мой друг, истинный друг, и попрет две тяжкие солдатские и связистские ноши вперед, на запад. Я уж ему толковал, что чем «до танкыстив» идти, лучше уж нам вместе «к Шумилихину податься» — знаменитость это местного масштаба, прославленная личность в нашей дивизии была, и о нем, о Шумилихине, речь впереди. Тем и удержал я своего преданного друга от опрометчивого поступка — он бы по его уму и характеру в самом деле рванул «до танкыстив», и, глядишь, судили бы его как дезертира.

Потел Петро во время работы очень сильно, а работы у артиллеристов адской и бесконечной тьма, и от пота не только белье и гимнастерка, но и телогрейка у друга моего насквозь бывала мокрая. Руки его потрескались от сырого черня лопаты, на плечах коросты от бревен, таскаемых на перекрытия, потную одежду промораживало зимой, инеем покрывало, простывал и кашлял Петро страшно, на мокро садилась пыль, и к середине лета гимнастерка на Петре изнашивалась в лоскутья, становилась черная, словно хромовая. Всегда сырая на нем была одежда, с бельем и телом слипшаяся. Закручу, бывало, в горсть гимнастерку на спине друга, а из нее выжимается желтая, липкая, как смола, жижа. Прелая гимнастерка через край грубыми нитками зашита. В кармане гимнастерки были у Петра письма и фотографии матери, любимой девушки и наша с ним — снялись в Святошино, под Киевом, когда были на переформировке — и вот, мокро и солью «съело» фотографии, письма от любимой девушки «съело и размыло в кашу», ладно, что у моей деревенской тетки сохранилась наша фотография. Как он радовался, когда я послал ему копию с нее и написал о нем какие-то добрые слова в газете «Красная звезда». На фронте он не часто



слышал добрые слова, да и потом, работая много лет председателем и заместителем председателя крупного, надсаженного войной колхоза, немного их слышал. В прошлом году вышел Петро — Петр Герасимович Николаенко на действительно заслуженную в труде пенсию.

Еще немножко быта, да? Ну, уж тогда самого грубого, такого, какового в наше благопристойное, многословное кино на сто верст не допускают. Вот представьте себе траншею и в ней человек пятьсот народу. Народ, он хоть и солдатами зовется, все равно остается человеками. А человек — существо громоздкое, неловкое, много вокруг себя всяких дел делающее, хламу оставляющее. К нам, в красноярский Академгородок, из-за снежных заносов не приходила «мусорка» несколько дней — и мы обросли сором, завоняло у нас из отбросных ведер. Д-а-а. Солдатику надобно три или хотя бы два раза поесть в день, неотложную нуждишку справить и, если прижмут «оттеда» — с другой, значит, стороны, справлять ее приходится на дно окопа, затем «добро» лопаткой на бруствер выбрасывать. И вот пятьсот-то человек, да в жару, да недельку, а то и месяц, как побросают, да ежели еще на поля боя и на «нейтралке» разбухшие, разлагающиеся трупы людей и лошадей валяются представляете, что это такое? Вонь, мухота, крысы откуда-то возьмутся, по-фронтовому осатанелые, наглые, случалось, раненым носы и уши съедали, мертвых пластали в клочья, дрались в окопах с визгливым торжеством, «окапывались», и справляли свадьбы, и окотывались здесь же.

А вши? Кто-нибудь, кроме фронтовиков, может себе представить во всей полноте это бедствие? Изнуряющее, до тупости доводящее...

Я как увижу в современном театре или военном кино артистов с гривами, девиц с косами, разодетых в хромовые сапожки, под музыку вальсы и танго танцующих или с ранением в живот исполняющих романс: «Ах, не любил он, нет, не любил он...», так мне хочется взять утюг и шарahnуть им в телевизор. И ведь эта красивая, «киношная» война сделалась куда как привычней и приятней для сердца и глаза, чем та,

которая была на самом деле. Есть даже термин: «Комедия о войне!» — хоть бы вслушались в дикость этих слов! Хоть бы почувствовали кошунство и глумление их, если не сердцем, то умишком, пусть и коллективно-руководящим. Миллион людей в Ленинграде, в основном детей и стариков, поумирали от мучительной, голодной смерти. Сотни тысяч пленных погибли в жутких немецких концлагерях, муки мученические пережили наши беззаветные труженицы-сестры, матери и дочери, надорвавшиеся в тылу непосильным трудом, от многих ран в госпиталях и на поле боя погибли десятки миллионов людей, раны у старых бойцов болят до сих пор и не дают им спать ночами, а тут — комедия! О войне! «Мы парни brave, brave, brave!...» А? Каково?!

\* \* \*

Да ладно. Эта комедия комедией и задумана, но когда пытаются вроде бы всерьез поведать о войне, да получается комедия с показом такого «героизма», что война уж выглядит нелепым фарсом — в таких комедиях запросто, одной каской, десять фрицев уложил наш боец, да еще и песенки напевая, такой он насмешливый и неустрашимый, в таких комедиях драпают тучами ошалелые фашисты-статисты, крича по-рязански или по-вологодски: «Гитлер капут! Гитлер капут!», в таких комедиях наши бойцы запросто, будто с игрушками, расправляются с немецкими танками посредством гранат и зажигательных бутылок — зачем только и нужна тогда была нам артиллерия, авиация и танки? Лишние расходы!

Кстати, и привыкли наши военачальники к подобной войне, уж явное превосходство над немцами в танках имели, а все боролись с танками и останавливали танковые наступления в основном артиллерией, не стесняясь ставить на прямую наводку и наши «лайбы», а ставить их «на прямую» можно было только с горя и от нужды, как говорил командир 92-й бригады генерал Дидык.

Конечно, когда против сотни танков противника выставляется тысяча орудий, артиллеристы в конце концов завалят снарядами, выбьют технику противника, как об этом сильно

и точно написано в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Но какие при этом потери? Ведь как-никак открытая со всех сторон пушка воюет против бронированной громады. Что-то я нигде не читал у наших военачальников и не слышал от них, чтобы они раскаивались в том, что из-за подобной стратегии на войне и массового героизма опустела русская деревня. У нас были и остались настроения: все огромные, часто неоправданные потери на войне списать на Победу и этим утешиться. Да что-то не очень утешается, как насмотришься да наслушаешься наших вдов и в сиротстве выросших детишек.

В наших комедиях фанерные танки палят без устали, на ходу, хотя любой вам танкист, с подлинного танка, скажет, что это нелепость, что на ходу можно стрелять только сдуру и для испугу и попасть в цель можно лишь случайно, что после четырех-пяти выстрелов танк, даже новейший по тем временам, полон дыма и поэтому выстрелами, особенно первыми, когда все еще видно и кашель не забивает экипаж, надо дорожить и стрелять как можно точнее, иначе попадет самому: танк — цель очень большая и видная.

В подобных же комедиях палят из автоматов и косят врагов, как траву, и столь метко и много палят, что в диске автомата должно быть по крайней мере тысяча патронов. Но в круглый диск автомата входило девяносто, чтобы пружины не зажало, чаще всего снаряжали автоматные диски половиной патронов, в «рожок» входило сорок пять, повторяю, в рожке и в диске были очень тугие пружины, и более пятидесяти патронов опытный боец в диск никогда не заряжал, иначе в самый опасный момент поставит патрон «на попа» или перекосит его, затвор в автомате был почти полностью открыт, и от попавшей в него земли и особенно песка оружие это часто «заедало».

Автомат наш был малоприцельным оружием, «ближнего боя», очень ненадежным, и «старички» — опытные солдаты, постреляв из него и попользовавшись им, постепенно перешли обратно на матушку-винтовку; мы, связисты, — на карабины, эти никогда не отказывали, и все в них было

для боя полностью: обойма о пяти патронах: с белой, красной, черной, зеленой и простой головой. Белая — разрывная, красная — зажигательная, черная — бронебойная, зеленая — трассирующая — чего еще надо-то? Весь боевой «арсенал» при тебе! И прицельность у карабина такая, что в воробья-беднягу попадали за сто шагов, Я из карабина в Польше немца убил, Во время боя. Нет, нет, не матерого эсэсовца, не тучного «обера», а худосочного какого-то работягу или крестьянина, в редкой белесой щетине. Котелок у него на спине под ранцем был, и этот котелок и сгубил человека — цель заметная. Под него, под котелок, я и всадил точнехонько пулю, когда немец перебежками пошел ко клеверной скирде, за которой, видать, сидел командир, а был «мой» немец, очевидно, связным. По молодой, беспечной глупости я после боя сходил посмотреть «моего» немца — и с тех пор он преследует меня. Случалось у меня, и не раз, «материал», угнетающий душу, выложишь на бумагу, и он «утихнет», «отстанет» от тебя. Про немца, убитого мною, я уж давно собираюсь написать, чтоб избавиться от него. (Написал в повести «Веселый солдат», но избавился ли?)

Вот такая «комедия». Между прочим, ни разу я не слышал, чтоб «зарубили» кино или книгу со лжепатриотической, шапкозакидательской войной. И сколько же породили приспособленцы всех мастей ура-патриотизма, сколько состряпали лжегероев, демагогов, военных кавалеров, красавчиков-лейтенантов, миловидных игрунчиков-хохотуш-санструкторш и совершенно отрешенных от мира, насквозь героических и до того непреклонных радисток диверсионных и партизанских отрядов, что уж невольно начинаешь думать: слава те, Господи, судьбою обнесло — жена у меня не радистка, обычный военный медик, сержант, — душу же леденит и сжимает от одного неустрашимого взгляда радистки-разведчицы.

\* \* \*

Ну вот, заговорил я и о сегодняшних противоречиях в жизни и искусстве, а память отринула меня снова к войне.

Были противоречия и на фронте. Да еще какие! Очень даже разнообразные и всегда кровавые.

Расскажу об одном из них.

Весной 1945 года 17-я Киевско-Житомирская дивизия вместе с другими соединениями блокировала Берлин с западной стороны, и, когда город капитулировал, на запад хлынули тучи немецких войск. Несколько суток шла невиданная и неслыханная по крови и жертвам бойня. Дело дошло до того, рассказывал мне командир дивизии, что на огневых позициях артиллеристы рубили топорами и лопатами озверелых и обезумевших фашистов. В тех последних на территории Германии боях дивизия потеряла две с половиной тысячи человек, испытанных огнем, боевых и славных артиллеристов, почти доживших до желанного Дня Победы. Противник понес потери десятикратно большие.

За бои под Берлином Сергей Сергеевич Волкенштейн был удостоен звания Героя Советского Союза, не он, конечно, один, но речь пойдет пока лишь о нем. Звезду Героя ему вручил командующий 1-м Украинским фронтом Иван Степанович Конев — в обход руководства артиллерии фронта.

Отчего же в обход-то?

А вот отчего. До войны, после многих приключений в своей жизни, Сергей Сергеевич Волкенштейн, как я уже писал, возглавлял Киевское артиллерийское училище и ни сном ни духом не ведал, что сведет нас судьба — воистину земля круглая!

Был в одном из подразделений, которым командовал еще в тридцатых годах недисциплинированный, зато нахрапистый и ловкий офицер, которого начальник его не раз и не два наказывал за разгильдяйство, пьянство и наглость.

Определивший в Сибири училище генерал Волкенштейн был отозван Ставкой и возглавлял штаб артиллерии на Волховском фронте и первую артподготовку провел под Шлисельбургской крепостью, в которой его бабушка-каторжанка, Людмила Михайловна, в девичестве Александрова, провела тринадцать лет. Затем генерал приступил к формированию крупного артиллерийского соединения, которое сам же

и возглавил, которое зачал с артполков, бывших в «деле» на Волховском фронте — так и началась 17-я дивизия, сформировав которую, Волкенштейн ее и возглавил. И он это крупное артсоединение не просто сформировал и возглавил, но в процессе формирования провел модернизацию артиллерии. Многие орудия были «переставлены» со старого, тяжеловесного хода на новый, облегченный; наши «лайбы», например, с тракторной тяги были переведены на тягу автомашинную, на «студебеккеры», и вместо 13–15 километров бригада могла за ночь сделать бросок на 60–70 километров. Части дивизии сделались более маневренными, что и требовалось для будущих наступательных боев.

И вот могучая дивизия движется с боями вперед на запад, и никто, даже сам командир дивизии, не знает, что она одновременно приближается к большим, непредвиденным, неожиданным испытаниям и даже бедам. Тот самый офицер, что был когда-то в подчинении Волкенштейна и терпел от него утеснения, очень ловкий карьерист, стремительно продвинулся в званиях и чинах — путных-то военачальников поистребляли, — оказался ни много ни мало, как начальником артиллерии 1-го Украинского фронта.

Далее я перескажу то, что с большой горестью и болью рассказал мне Сергей Сергеевич:

«Начальник артиллерии фронта артиллерист был слабый, зато карьерист оказался сильный — такой вот каламбур! Вместе с чинами и званиями росло чванство и самодурство злопамятного человека, но ума не прибавилось.

Решил он во что бы то ни стало отомстить мне за прошлые обиды и начал «подставлять» мою дивизию так и в такие места, чтоб она погибла, а я чтоб головы не сносил. Но ведь «подставлял»-то он не абстрактную цифру семнадцать, не номер дивизии, и не меня, наконец, а вас, дорогих моих бойцов, беззаветных, иначе и не скажешь, тружеников. Трижды, четырежды, до гробовой доски я буду виноват невольной виной перед вами, мои дорогие парнишечки, особенно гнетет вина перед погибшими, израненными и изувеченными. Бывает, соседняя наша дивизия, большинство частей ко-

торой оставалось на тракторном и даже конном ходу, трюхает к фронту не торопясь, моя же дивизия, модернизированная, подвижная, уж навоюется досыта, и вы там, на передовой, ребята мои, уже не раз умоетесь кровью. Соседу за «аккуратность» в потерях, за экономию горючего и снарядов — благодарность, мне за перерасходы — выволочка; соседям — ордена и отдых, моим бойцам марш, марш и не только награды, но и харчи в последнюю очередь.

Однако главное было: воевать, победить врага, исполнить свой долг. После гибели Ватутина был Жуков командующим 1-м Украинским фронтом, затем Конев, опять Жуков, опять Конев. Смена командующих как-то мне и помогла «спрятаться», приспособливаться к обстановке, иметь дела непосредственно с действующими армиями, от них и с помощью их снабжаться, пополняться. Но корпус-то прорыва! Он, корпус, и, значит, дивизии — в непосредственном подчинении командования артиллерией фронта, хоть и числятся за эргэка. Но до Москвы далеко, до этого самого эргэка высоко, командование же артиллерии — вот оно, тянет к телефону, к радию и, не подбирая выражений, угрожает, кроет седого, потом обливающегося генерала. Все крупные прорывы, артподготовки планировались, подготавливались и утверждались в штабе фронта. Не больно-то спрячешься. То ли дело ваш брат, битый боец, — хитрюга, занырнет в щель, в окоп, в воронку, заляжет в кустах со своим имуществом — вещмешком и винтовкой, и посапывает там себе, спит — и ищи его — свищи!..

Ах, как он, мой отец-генерал, обрадовался, возликовал, когда под Житомиром я «потерял» дивизию. Думал, видать: тут-то мне и конец, явственно видел меня на скамье перед военным трибуналом. Но в той обстановке массового отступления и неразберихи, сопутствующей любому драпу, я принял единственно правильное, считаю, решение: дал по радию приказ всем командирам полков и бригад действовать по своему усмотрению. Я знал свой народ, доверял своим командирам, и они, в большинстве своем, приняли тоже вер-

ные решения: свернули с Житомирского шоссе в направлении на Брусиллов, потому как на Житомирском танки Роммеля в упор расстреливали сгрудившиеся колонны восемнадцатой армии, привыкшей к неторопливым боям «местного значения» на вспомогательном фронте. Сдерживая противника, не давая ему развивать наступление на фланге, в конце концов свежие части и мы тоже остановили его, хотя, конечно, и потрепаны были изрядно.

Под командованием делового и строгого командира Дидыка ваша бригада проявила в боях особое упорство, пострадала, конечно, сильно побита была и угодила на переформировку в Святошино. Но именно нам, нашей дивизии, командующий фронта присвоил и верховный утвердил звание Житомирской. Киевско-Житомирская, многожды орденоносная. Горжусь! Все вынесли мои бойцы и победили! В числе других соединений, освобождавших Киев и правобережную Украину, золотом написан номер нашей дивизии и все ее звания на своде мемориала Победы в Старопетровцах; знамена дивизии хранятся в одном из почетнейших мест страны — в Ленинградском артиллерийском музее.

Ну а я? Начал воевать генерал-майором и закончил в том же звании. «Шеф» же мой, бог фронтовой артиллерии, начав войну с подполковника, стал генералом армии. После войны я начал преподавать в артиллерийской академии, достал и там меня мой «шеф», выжил из академии, загнал на пенсию, в домашний угол, а я ведь мог еще приносить пользу армии, народу, Родине... Ну да ладно, Бог с ним, со мной...

О Шумилихине-то что-нибудь слышал? Написал бы о нем. Сорванец, конечно, но любил я его, и все в дивизии любили. Ты хоть видел его?

— Видел. Один раз.

— В бою?

— В бою.

— Где видел-то?

— Под Проскуровом. Там же и маршала Жукова видел.

— Ну и как? Как они?».



Ну вот и пришла пора вспомнить действительно славного, действительно боевого командира истребительного полка Шумилихина. Всякие о нем катились слухи по дивизии, в том числе и о том, что четырежды его представляли к званию Героя и всякий раз отзывали наградное дело из-за «художеств», его личных и не менее прославленных похождениями, всевозможными «художествами» и выходками дорогих его истребителей.

Солдаты сказывали (а они все-о-о знают!), что командир истребительного полка подбирал себе кадры и восполнял потери следующим образом: как узнает, что в пехоту, им поддерживаемую, поступило пополнение, берет двух своих гранатеров-денщиков, разряженных понарядней полевых офицеров, те водружают на спины ведерный термос, рассчитанный на доставку горячего супа в окопы, и вещмешок с хлебом, салом или с селедкой, да под покровом темноты и начинают обход траншей. Командир полка будто бы большой был спец беседовать с советским солдатом «по душам» и будто бы спрашивает: «Откуда и чей будешь, браток?» И если, значит, солдат из тьмы сообщал, что сибиряк он, либо уралец и к тому же недавний штрафник, бывший детдомовец или вообще бандит отпетый — тут же из термоса зачерпывалась кружка спирта, из рюкзака вынимался «бутыльброд» с салом, и пока солдат управлялся с выпивкой и харчем, ему объясняли, что лучшего войска, чем истребительный полк Шумилихина, на всем свете нету, во всяком разе на 1-м Украинском такой прославленной части днем с огнем не сыщешь. Командир полка — не просто отец родной, но можно смело, не боясь впасть в преувеличение, сказать: из отцов отец, и вообще артиллерия — это тебе не пехота, попалил маленько по врагу и спи себе, опять же у пушки щит железный, пусть и небольшой, нетолстый, но все же преграда, и за ним, за щитом, укроешься хоть от пули, хоть от осколков. А уж снабжение! Сам видишь — сала не проедаем, спирту и водчонки не перепиваем, сыты, пьяны и нос в табаке! — и вторую, значит, кружку

вояке. А тому, доходившему три месяца в запасном полку, на тыловой норме, много ли надо? Тяпнет две кружки разливухи, съест шмат сала да полбулки хлеба, и все — «работа с кадрами закончена!..»

Уж как там и что было, каким образом пополнялся, воевал и двигался полк Шумилихина вперед на запад, я в точности не знаю, но один раз, как уже говорил, видел самого командира полка и его «орлов» в деле.

Есть неподалеку от города Проскурова красивое местечко с выразительным названием Черный остров, и вот под этим местечком застряли мы и как-то вяло, неорганизованно, даже вроде неохотно вели бои тоже с вяло и неохотно отбивавшимся противником. Под какой-то деревушкой, стоящей меж совершенно диких и довольно обширных зарослей леса, мы и «бились» уже несколько дней. Пехота картошку варит по всем полям, артиллеристы-бойцы анекдоты по телефонам травят, офицеры подворотнички подшили, сапоги начистили, вроде как на танцы собираются ехать, а вечером как понаехало машин и бронетранспортеров, как вышел из одной машины коренастый человек в кожаном пальто да как зыкнул: «Командиров ко мне!..» Я и близко к командирам «не лежал», но спину у меня покорило. «Загораете?» — рывкнул человек в кожанае (тут я на всякий случай с телефоном в окопе спрятался, в «землю ушел» — надежное укрытие солдата от всех бед и начальников)... А по окопам: «Жуков! Жуков! Жуков!..»

Утром просыпаемся... Мамочки мои! Войска-то, войска понаперло! Впереди нашего наблюдательного пункта торчат из когда-то выкопанных огневых стволы «зисовских» пушек, Худые это соседи. Не любили их за оглушительную, твякующую стрельбу, от которой глохнут все вокруг. Мало что она, пушка, по ушам ударит тебя, так еще и непременно подпрыгнет, солому и землю подкинет вокруг себя, дымом окутается. Глядишь, по пушчонкам-то ответно бить начнут, и, коль близко расположен, заодно попадет и соседу, да еще, как на притчу, попадет раньше и крепче, чем самим орлам-артиллеристам.

Наступило утро, началась война. Из села выползло штук восемь немецких танков: четыре медленно ползут, четыре, остановившись, лупят из орудий. Истребители зашумели, закричали и открыли ответную пальбу. Танк, он, конечно, громада, однако попасть в него не так уж и просто, и, когда артиллеристы попадали в танк, а зенитчики — в самолет, обязательно в любой, даже самой крайней обстановке раздавался клич ликования, бойцы, что помоложе, даже подпрыгивали, шапками оземь били.

И вот, стало быть, утро продолжается, пальба, стрельба и шум разрастаются, танки двигаются, пехота немецкая из лесу норовит в поле выйти, как вдруг резкий, визгливый взрыв, клуб огня с серым, почти синим дымом — это истребители угодили в танк, мы уж по звуку взрыва снаряда, не заглушенного землей, не «снопом», а вот именно клубом, дымным комком, знали, что это такое, и одновременно с расчетом пушки издали торжествующий клич, запрыгали, заликовали...

И внезапно все смолкло — словно отрубил топором наше всеобщее ликование: танк продрал завесу дыма и как ни в чем не бывало двигался вперед, водил хоботом пушки, ноздрею черной принюхивался к дерзкой пушчонке, всадившей ему снаряд в бронированный лоб.

Через минуту пушчонка, как дворовый пес Шарик, лежала кверху лапами, и я точно помню — визжала со страху.

Я не раз видел драпающих вояк, — увы-увы, не только фашистских! И сам драпал, разочка два даже босиком, так как спать в обуви не мог и имел привычку разуваться в удобном месте и в удобное время. Кстати, первый удар под Ахтыркою нашей бригаде нанесли не немецкие танки, а наш, драпающий от них, стрелковый полк. Ошалевшие славяне, которых артиллеристы валили наземь, держали втроем, вчетвером каждого, двух или трех вроде бы для острастки застрелили, ворвались сперва туда, где окапывались взвода управлений, потом и на огневые позиции, поизорвали связь, своротили стереотрубы, порастоптали всякое имущество, смели напрочь все, что можно смести, и, оставляя клочья одежды в перстях

тех, кто их пытался задержать, загнанно, по-лошадиному храпя черными, разъятыми ртами, умчались вдаль.

Но драпающую пехоту, или, говоря осторожным языком военных сводок, «меняющую боевую позицию» (всегда, конечно, худшую на лучшую меняющую!), хоть короткий миг видно и слышно, а вот, как исчезают расчеты орудий, я ни разу увидеть не сподобился. И у тех стосемидесятишестимиллиметровок, что стояли впереди нас под Черным островом, мгновенно не стало расчетов — ни одной живой души! Артиллеристы не убегали, не улетали, не уползали — их просто не стало, испарились! Отлетели, как свят дух!..

Разумеется, война продолжалась, бой шел и без них, бил наш дивизион из закрытых позиций и загнал немецкую пехоту обратно в лес, били другие батареи и полковые пушки, сгущались разрывы меж лесом, на поле, деревне попало крепко, там уже горело несколько хат, и какие-то машины черно и высоко дымили: в подоженных клунях рвался, разбрасывая стены и крышу, артсклад.

По траншее, проложенной из тыла, от дороги к передовым позициям, в которой, вырыв себе ячейку, сидел и я с телефоном, прошествовала живописная тройца: впереди косолапый подполковник с отвислой от тяжести пистолета растегнутой кобурой, бившей по заду, и с папахой, зажатой под мышкой. За командиром шествовали два здоровенных, сытых бойца, увешанных медалями и орденами. В кубанках, в комсоставском обмундировании, с новенькими автоматами на груди и гранатами за поясом. Подполковник лицом очень был похож на любимого дирижера Светланова — дирижер во фраке, конечно, выглядел элегантнее и стройнее фронтового командира. Два бойца были похожи друг на друга, как близнецы, и лица не имели. Вместо лица у них были сурово сдвинутые темные брови в солдатский ремень шириной.

Не прошло и пяти минут, как меж сиротливо умолкших пушек возникла папаха, по бокам ее во весь рост встали два автоматчика-гранадера, и вот эта папаха, чуть возвышающаяся над холмами свежей земли, зримо торчащая меж двумя огневыми позициями, тонкий и пронзительный, похожий

на голос недавно работавших пушек, исторгла звук: «А-а, сукины дети! А-а, мерзавцы! А-а, змеи подколенные! Так вас и перетак! Смотрите, смотрите, как вашего полковника убивать будут!...» (звание командир тот округлил, должно быть, для большей выразительности).

И что вы думаете? Как исчезли, испарились расчеты от пушек, так же незримо и возникать начали — из земли, из воздуха, с небес сошли, что ли?! Заговорила одна, другая пушка, продолжался бой, война продолжалась. Гляжу, по траншее от орудий топает подполковник со снова зажатой под мышкой папахой, за ним два молчаливых гренадера. Я не утерпел, высунулся из своей ячейки, глазею — интересно же, не каждый день таких героев увидишь! — как вдруг подполковник остановился против меня, уперся в меня взглядом и удивленно захлопал выгоревшими на солнце ресницами, хлопал, хлопал и спросил:

«Солдат! Ты с какого кладбища?..» — Узнаю я, скоро узнаю и на себе любимое это изречение командира дивизии — Шумилихин бесхитростно ему подражал. Не дожидаясь ответа, махнул командир рукой, засмеялся и пошел дальше, а за ним два гренадера дружно гыгыкнули и сдвоили шаги.

Так вот видел я первый и последний раз знаменитого командира истребительного полка Ивана Шумилихина, который был-таки удостоен звания Героя Советского Союза, погиб в бою в Германии, похоронен на холме Славы во Львове. И слышал я, обретя независимость, неистовые самостийщики тот холм скопали, над славными могилами надругались, но надеюсь, что добрый народ вологжане прах своего славного земляка перевезли на Родину...

## Отповедь генералам

...Ах, как в строку, к разу, казалось мне, к месту вставил я слова о правде на войне, забыв о том, что с войны каждый боец и офицер привез свою личную правду, а генералы и тем более маршалы приволокли свою правдищу, да такую огром-

ную, исключительную, что она загромоздила собой правду истинную, заслонив быль небылью и все военное лихо и почти каждый из них спешил рассказать о себе, хорошем, о своих подвигах — и вот те на: какой-то солдатишка-обмоточник высунулся со своей окопной правдой, и она никак, ни с какого бока с генеральской не сходится!

Однако на десяток гневных генеральских отповедей дерзкому солдату хлынул мне поток писем от тех, кто воистину спасал Родину, выполнял свой долг — целый чемодан писем, который я сдал в Красноярский краеведческий музей. Целые исповеди — рассказы о себе, о походах и боях, о трагедиях войны...

Ах, как далека эта людская исповедь от генеральских отповедей и вельможных забот о себе и своем благополучии. Я и по себе знал, что отцы-генералы, партия и правительство предали своих воинов-спасителей и двадцать лет о них не вспоминали в будни, в жизни, лишь по праздникам славословили и хвалили себя. Ни о живых, ни о мертвых не думали, не вспоминали, по полям и лесам белели косточки русские, в литературе, кино, театре прославлялась совсем другая война, та, на которой мы не были и быть не могли. Царил обман и демагогия, воровство, предательство — товарищ Варенцов, будучи уже маршалом, в Генштабе заправлял всей ракетно-артиллерийской мощью страны, запятнавший себя воровством еще на фронте, нанимается в осведомители матерому шпиону Пеньковскому. Они разом продают пол-России. И ничего. Какой-то генералишко, видать, и прежде умом не блиставший, этакий приштабной лизоблюд, пишет мне: «Партия и правительство сочли возможным за прошлые заслуги понизить товарища Варенцова до генерал-лейтенанта, сохранить за ним половину денежного довольства...». Долго шла буча вокруг моих заметок, долго, долго лампасники дерьмом исходили, но все в конце концов улеглось, хотя любимцем наших генералов я не стал.

...Как я уже говорил, у меня набрался полный чемодан писем, а я, как и всякий современный человек, задерган текучкой, изведен суетой, кроме того, вынужден это сообщить

моим корреспондентам, — тоже инвалид войны, и со зрением дела у меня обстоят неважно, а письма-то писаны всякими, порой уже «пляшущими» почерками. Да и, как сказал один русский классик, нигде так и не умеют мешать работать писателю, как в России, добавив, впрочем, что русские писатели и любят, чтоб им мешали.

Говорил это классик в ту пору, когда не было еще телефона, не летали самолеты и безграмотное общество не наплодило тучи графоманов, самоучек-социологов, дерзких и диких философов, новаторски мыслящих экономистов, уверенно предлагающих немедленно и без потерь наладить хозяйство и попутно улучшить мораль в любезном Отечестве.

Словом, шло время, письма покоились в чемодане, авторы же, участники войны, ждали «реагажа» на свои письма, а то и просто обыкновенной человеческой помощи и участия.

Узнав о моей скорбной ситуации, один давний приятель, руководитель крупного предприятия, предложил мне спрятаться в таежном пионерлагере, принадлежащем его ведомству.

Пионерлагерь зимой пустовал, лишь две собаки, дружески настроенные к гостям, и строгость на себя напускающая сторожиха встретили меня. Сосняки кругом шумят, снег белый-белый, тишина необъятная, и не верится уже, что бывает такое.

Обходя территорию пионерлагеря, «по ранжиру» строенного, в котором, несмотря на грибки, качели и всякого рода спортивные сооружения и деревянные скульптуры, явно проглядывали признаки строгого, к шуткам не склонного военного поселения, идя по зимней тропе на пологой вершине меж давненько уже вырубленных сосняков, я обнаружил заброшенное, безоконное и немое сооружение из бетона, спросил о нем у сторожихи. Она словоохотливо объяснила, что это «бункар», но какой-то «врах сотворил изменшество», солдатиков, «бедных, зимой, в морозяку, кудысь увезли, а территорию детям подарили».

Ну, врагами, изменщиками, шпионами, хриstopродавцами и прочей нечистой силой меня не удивишь, сам есть Оте-

чества моего сын и чуть что, как и все россияне, горазд бочку на них катануть. Но каково же было мое потрясение, когда, открыв чемодан, я обнаружил прямую связь этого заброшенного военного сооружения с содержанием писем!

Впору было на весь пустой пионерский дом завопить: «Свят! Свят!» Но я не завопил, сидел подавленный и в одиночестве, под шум зимней тайги вспоминал своего фронтового командира отделения, который в послевоенные годы был и рабочим, и секретарем райкома, и крупным хозяйственным деятелем. На войне это был честнейший и мужественнейший человек, таким он остался и «на гражданке». Когда я был у него в гостях, по телевизору сотворялось очередное действо: под умильные слова, елейные улыбки и бурные рукоплескания Брежневу вручалась очередная, не заработанная им награда, и возопил мой фронтовой друг: «Да до каких же пор нас будут унижать?» И ответил я фронтовому другу: «До тех пор, пока мы будем позволять...»

Но вернемся к чемодану с письмами. Большинство авторов, в основном бывших фронтовиков, благодарили меня за публикацию, делились своими мыслями, воспоминаниями, кое-что дополняли и уточняли. Были письма-исповеди в тетрадь и более величиной, столь интересные, от сердца и сердцем писанные, что хотелось бы привести их полностью, но нет пока места и времени. Однако я обещаю, что все письма непременно сдам в архив. Пусть внуки и правнуки наши читают их, гордятся одними авторами и стыдятся за других.

\* \* \*

...Сначала отвечу на некоторые замечания.

Самое главное из них: под Ахтыркой не подбивала наша 92-я бригада восемьдесят танков, и быть такого не могло. Командир 108-й бригады нашей 17-й армдивизии Реутов Владимир Дмитриевич в спокойном, обстоятельном письме поправляет меня: 85 танков атаковало позиции 92-й и 108-й бригад. 92-я бригада тремя дивизионами уничтожила 20 танков, бригада, которой командовал Реутов, — 10 танков. Это был первый такой страшный бой на моих глазах, и я как вспомню



восемнадцатилетнего парнишку, имеющего мой облик, находившегося в огненном аду целый день, так еще и удивляюсь, как ему сто горящих танков не привиделось!

Второе резкое замечание о том, что 17-я дивизия формировалась в 1943 году и не могла быть в боях раньше, не согласуется с фактами. Артиллерийская дивизия прорыва — сложное механизированное соединение, его за короткий срок не сформируешь. Я полагал, что военные специалисты понимают это, — и понимают, конечно, но цепляются за любую возможность «ущучить» автора. Весной 1943 года было закончено формирование 17-й артдивизии, но отдельные ее полки и бригады уже в 1942 году осенью принимали участие в боях на Волховском фронте, и начальником штаба артиллерии фронта был будущий командир этой дивизии полковник Волкенштейн.

Есть и еще ряд мелких поправок, которые за недостатком места я опускаю. И среди них упрек, что я неуважительно описал приезд маршала Жукова на передовую. Но именно из уважения к покойному полководцу я опустил из описания все, что происходило потом, после начала встречи его с командирами, которых он вызвал к себе...

Есть письма — их двадцать, — о которых мне хочется поговорить особо. Они принадлежат людям со званиями генералов и полковников все более тыловых и штабных служб. Авторы их высказываются пространно, суконным языком рапортов и докладных, но большинство хотя бы не унижает бранью свои высокие звания. Встречаются, однако, и такие письма, что белая бумага краснеет от высокомерного тона, надменности и спеси авторов. Письма эти пестрят одной и той же буквой «Я! Я! Я!» — «Я там-то и так-то воевал!», «Я того-то и того-то знал!», «Я две академии кончил!». И в конце приписка «Извените за ошипки».

Не стану перечислять всех авторов подобных писем, поощаю старость и покой заслуженных людей. Не все уже «по уму» действуют, больше по старой привычке повелевать и опровергать все, что на глаза попадет, а уж писанное бывшим бойцом — тем более. Но скажу о том, что во многих случа-

ях вызвало гнев моих оппонентов и что представляется мне принципиально важным.

Самый большой упрек читателей я заработал за то, что не назвал фамилии командующего артиллерией 1-го Украинского фронта: «Рагуешь за правду, а сам в кусты!..»

Тот материал писал я ко Дню Победы. И — каюсь! Искренне каюсь — не хотел марать чистую бумагу во дни светлого и скорбного праздника фамилией человека, опозорившего себя, должность свою высокую и честь советского воина.

Что же говорится о нем в откликах? Пр процитирую Степана Ефимовича Попова из Москвы. Звания своего он не написал. Не из скромности. Таким «недостатком», судя по выскомерности и непреклонности тона его письма, он не страдает.

Вот что пишет о С. С. Варенцове, командующем артиллерией 1-го Украинского фронта (фамилии которого я не назвал), тов. Попов: «Мы, артиллеристы, знали С. С. Варенцова как крупного артиллерийского деятеля, знали мы и Волкенштейна как мелкого интригана... Безусловно, Варенцов на старости лет провинился, и государство его наказало, но оставило его генералом и членом КПСС, и мы, старые артиллеристы, помним генерала Варенцова довоенного, фронтового и послевоенного как трезвого, отзывчивого и глубоко мыслящего человека, а Волкенштейна бывшие его однополчане не знают даже, где он похоронен».

«Это был умный и талантливый полководец, — вторит С. Е. Попову полковник в отставке В. А. Кашин, — он пользовался большим авторитетом и уважением... Это был неприхотливый, скромный человек в быту и очень доброжелательный к людям...»

И в таком же роде еще несколько писем, с умилением повествующих о жизни и деятельности бывшего Главного маршала артиллерии Варенцова. Просто сомневаться начинаешь в достоверности горького рассказа командира 17-й арtdивизии — уж не наплел ли чего старый насчет фронтовых дел и насчет того, что, дослужившись до маршала, даже при мно-

жестве дел в Генштабе Варенцов не забывал «обидчиков» и того же Волкенштейна «достал» мстительной рукой в артиллерийской академии, где он работал преподавателем после войны, и вышвырнул вон все в том же звании генерал-майора, которое было ему присвоено еще в начале 1943 года.

Давайте же послушаем тех, кто близко знал Волкенштейна и Варенцова с довоенных лет. Директор Сахалинского краеведческого музея Владислав Михайлович Латышев пишет ко мне: «Когда С. Волкенштейну был год, родители привезли его на Сахалин, к бабушке Людмиле Александровне Волкенштейн, известной революционерке-народнице, отбывавшей здесь ссылку после 13-летнего заточения в Шлиссельбургской крепости. По какому-то исторически оправданному совпадению в 1942 году Сергею Сергеевичу Волкенштейну доведется подготавливать и вести артподготовку и бои в районе Шлиссельбурга. За Людмилой Александровной добровольно в ссылку последовал ее муж, врач по профессии, Александр Александрович Волкенштейн. Сергей Сергеевич не был потомственным артиллеристом. Его дед А. А. Волкенштейн известный последователь учения Льва Николаевича Толстого, а отец, Сергей Александрович, учился в Петербургском университете и за революционную деятельность был отчислен из университета и отослан под надзор полиции в Полтаву. Он рано умер, и почти одновременно с ним умерла мать Сергея Сергеевича. Бабушка Людмила Александровна погибла в 1906 году во время расстрела демонстрации во Владивостоке. Сергея Сергеевича взяла на воспитание друг семьи Волкенштейнов, дочь известного врача Склифосовского О. Н. Яковлева-Склифосовская».

«Старый строй убил его мятежную бабу, — пишет журналист Георгий Миронов в книге „Командир дивизии прорыва“, выпущенной в серии „Богатыри“ о Героях Советского Союза, — изломал жизнь его родителям, самого лишил детства». Ранней весной восемнадцатого года С. С. Волкенштейн записался добровольцем в Красную Армию, в девятнадцатом году его приняли в ряды РКП(б)...

Далее слово В. Г. Татарову из Днепропетровска:

«В 1929 году я — курсант батареи одногодников (были такие подразделения по подготовке среднего комсостава). Командир батареи С. С. Волкенштейн, Человек с большой буквы, прямой, честный, справедливый, безгранично преданный делу своей жизни...

Когда полковник Волкенштейн был нач. артдивизии 6-го стрелкового корпуса, ему был подчинен начальник артиллерии 41-й стрелковой дивизии, которая входила в состав корпуса, и командовал артиллерией дивизии полковник Варенцов — этакая импозантная фигура. Самодовольный, высокомерный, хитрый, скрытный, не шибко грамотный артиллерист. Это тот самый Варенцов, что позорно кончил свою карьеру, оказавшись замешанным в громкое дело английского шпиона Пеньковского...»

«...Вместе с Вашей дивизией Вы найдете в мемориале в Петривцах написанную золотом на стене и нашу 3-ю Гвардейскую минометную дивизию, где я был в должности начальника автотехнической службы... В конце войны, когда мы были уже в Германии, я получил указание выделить в распоряжение фронта десятков автомобилей с двумя заправками горючего. Когда машины и команда, сопровождавшая их, вернулись, я узнал, что они возили каменноугольные брикеты на дачу Варенцова во Львов. Оказывается, этот подлец (другое слово трудно подобрать) во время львовской операции прихватил себе буржуйскую виллу и оформил ее как личную собственность... И скольким же честным людям он испортил жизнь!... Инвалид Отечественной войны, полковник в отставке Владимир Васильевич Павлов. Москва».

Как раз во время работы над этими заметками я получил альбом от нашего однополчанина из Москвы Алятина Александра Константиновича, посвященный любимому командиру. Этот альбом включает некролог, напечатанный в газете «Красная звезда» 24 мая 1977 года, и фотографию с памятником на могиле Сергея Сергеевича Волкенштейна, возле которого собрались ветераны дивизии, ибо жена его и сын к той поре умерли, родственница у него осталась одна, племянни-

ца Комракова Наталия Давыдовна. Она была возле постели умирающего генерала и вот что написала мне: «В последние дни мы много говорили. Он вспоминал своих „парнишек“ и говорил, что войну одолели и Победу добыли те самые ребята, что четыре года в снегу, в грязи, в земле жили, работали, а я вот умираю, смотри, в какой чистоте. Говорил, что всю жизнь хотел, как его дед-толстовец, не убивать людей, но вот все повернулось так, что Родине надо было служить, быть военным и воевать...»

\* \* \*

Великий русский деятель истории, Гражданин и Мыслитель с большой буквы сказал когда-то один писатель по поводу русского царя, который недругов своих, подозрительных людишек, а попутно и разлюбленных жен живьем закапывал в землю, но в глазах потомков возжелал выглядеть ангелом и «редактировал» рукописи о себе способами и методами, дожившими до недавних времен и хорошо нам знакомыми. «Народ обмануть можно, историю не обманешь!» А какое есть жадное стремление у некоторых наших старших деятелей, и не только военных, не то чтобы обмануть, а поприжать кое-что, подзамолчать, жить полуправдой или угодной, любезной их сердцу «генеральской» правдой. «Солдат, так и пиши о солдатах!» — покрикивает мне тов. Попов и другие постаревшие чины. Так им удобней, лучше, спокойнее доживать свои годы. Но: «Кто прячет прошлое ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу...» — перед смертью воскликнул великий поэт нашего времени Александр Твардовский.

В газетных дискуссиях немало уже говорилось о том, сколь вреда принесла нашему обществу полуправда, как искажала она наше общество, сбила его с ноги, сколько породила вора, шкурников, карьеристов, демагогов, которых хлебом не корми, дай спрятаться за ширму красноречия, привычного пустословия. Отставные военные, праведно гневящиеся на то, что я состарил в своих личных заметках гаубицу на два года или назвал командующего артиллерией начальником, делают вид, что забыли о времени, когда заслуги

армии под номером восемнадцать и, главное, начальника ее политотдела Брежнева возносились до такой степени, что невольно вспоминалась притча о том, как один польский улан до того разошелся, повествуя о своих военных подвигах, что малая паненка внучка его — невольно воскликнула: «Деда! Если ты всех врагов победил, все армии разбил, что же тогда делали на войне другие солдаты?..»

Видно, «элита элиту» лелеет и хочет любимыми способами сохранить за собой самим себе устроенное житье. Да чтоб литература и искусство, как «столбовой дворянке» по велению золотой рыбки, служили им и чтоб про генералов непременно писали генералы, а профессионально работающие литераторы «корректировали» их «труды», исправляя грамматические «ошипки», и выдавали народу «бесценные» подарки в виде опусов о бессмертных генеральских деяниях.

Иные авторы из генералов все еще вроде бы как находят-ся на командном пункте и нас, литераторов, считают ротными писарями, которые должны составлять под диктовку рапорты и боевые донесения, а если посмеешь свое суждение иметь, тут же отповедь тебе насчет «внешних врагов», «на мельницу которых ты (то есть я, Астафьев) льешь воду и ослабляешь мощь наших Вооруженных Сил. Да и какой пример подается нашей молодежи?»

Генерал-майор в отставке Зайцев, бывший начальник штаба дивизии, вместе с еще двумя работниками фронтового тыла пишет почему-то от имени «бывших солдат» десятой и сто восемьдесят первой гвардейских дивизий, заключая свое письмо таким вот «неустрашимым» возгласом: «Ваша затея мартышкин труд! Мы били их (врагов) трехлинейкой, а в случае нужды ракетой побьем запросто!».

Какая живучая все-таки песня «Если завтра война, если враг нападет»! И не стыдно, оказывается, некоторым товарищам, что под бравурные слова этой песни сибирские дивизии и плохо вооруженное ополчение неисчислимо легли в подмосковную землю. Слезы на глазах уже редких вдов наших до сих пор не обсохли, ранние могилы солдат, детей и инвалидов травой еще не совсем заросли, старые раны не отбо-

лели, на головы, обряженные в парадные генеральские картузы, какие-то чужеземные загулявшие самолеты садятся, а бравые Зайцевы все те же нам песни поют про «непобедимую трехлинейку» да еще про непробиваемый ракетный щит!

А о том, какой пример подается молодежи, за меня ответит письмо Марка Соломоновича Эльберга: «Нас, ветеранов третьего Сталинградского Гвардейского мехкорпуса... пригласили в Волгоград к юбилею Сталинградской битвы. Состоялась встреча с учащимися средней школы, восстановленной еще во время войны на средства, внесенные воинами нашего корпуса... Все было торжественно. Нас приветствовали школьники, а ветераны рассказывали эпизоды сталинградского сражения, о подвигах воинов.

Спустя время, уже вне класса, в коридоре подходит ко мне группа учащихся во главе с председателем пионерского отряда и говорит: „Много в наш город приезжает ветеранов, рассказывают подобное тому, что рассказывали сейчас вы, но как поговорим с ними отдельно, в стороне, то слышим совсем другое. А мы хотим знать, что было на войне в самом деле“.

Я остолбенел! Полчаса назад ими, учащимися, было выражено столько восторгов по поводу нами рассказанного, а оказывается, под всем этим лежал груз сомнений...»

Кабы он «лежал», это «груз сомнений». Увы, он «работает», ибо всякая ложь, сокрытие истины растлевают души людей, лишают доверия молодежь, которая порой презрительно относится к тому, что говорится и пишется нами, ветеранами.

...Что касается совета: «Солдат, так и пиши о солдатах», — я охотно его принимаю и хотел бы всю жизнь вдохновляться примером создателя величайшего шедевра мировой литературы — «Дон Кихота». Четыреста лет назад сочинил его солдат-инвалид Мигель де Сервантес Сааведра, и начал он эту гуманнейшую из гуманных книг сидючи в тюрьме. И вообще я всегда охотно следовал и следую совету Максима Горького — больше учиться. Но не принимал и никогда не приемлю полубарские замашки и этакое небрежно-снисходительное отношение к солдату. Забыли некоторые военные чины,

что армия-то у нас все же рабоче-крестьянская и как солдаты, так и командиры вышли не из баронов и графов, а все из того же трудового народа.

\* \* \*

...Ах, война, война... Болеть нам ею — не переболеть, вспоминать ее — не перевспоминать! И все-таки не могу отложить в сторону одно письмо. Какой светлый и, не побоюсь «крайнего» слова, нежный образ встает за строками, написанными Парасковьей Петровной Бойцовой, награжденной на фронте орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

«По возрасту я ваша ровесница, одинаковая с вами военная специальность — связистка, в 44-м Гвардейском артиллерийском полку 16-й Гвардейской стрелковой дивизии. Прошла с боями из Подмосковья, огненную Курскую дугу, Белоруссию, Прибалтику, Восточную Пруссию... Пути войны, нелегкие для мужчины, во много раз труднее для девушек-фронтотвичек. Сейчас невозможно представить, как мы могли жить, и не один год, имея всего имущества шинель да плащ-палатку. За все время пребывания на фронте я не припомню, чтоб хоть ночь между боями мы провели в жилом помещении. Землянка узла связи — в ней невозможно встать, со стенок сочится, под ногами хлюпает грязь, в которой день и ночь чадит узенькая полоска шинельного сукна, опущенная в горячее. Отсидишь смену — только зубы белые.

Мы, 17-18-летние девушки, не принимали скидки ни на молодость, ни на слабый пол. Лично я постоянно находилась во взводе связи, среди солдат разного возраста, рядом ни мамы, ни подружки, постоянно контролируешь свой каждый шаг, каждое слово. Я по пальцам на одной руке могу пересчитать, сколько раз мылась в бане (в землянке, во время недолгой передышки в боях). Даже летом, недалеко от реки находясь, разве можешь искупаться, если кругом одни мужчины...

День своего рождения забывала каждый год. В 1944 году замполит полка Расщепкин сказал, что нынче-то обязательно отмечен будет мой день рождения — как-никак двадцать лет! Но началось наступление, тяжелые бои, большие потери...



В 1945 году в полку решили торжественно отметить 8 Марта. Стояли мы тогда в городе Бергау под Кенигсбергом. В полку было шесть девушек: военфельдшер, две телефонистки, две радистки и повар. Мы никогда не видели друг друга — фронт не место для прогулок и в гости не пойдешь. Командир полка разрешил девушкам быть в гражданском платье. Я посмотрела свой гардероб: ватные брюки, застиранная добела гимнастерка, стершиеся сапоги. В таком виде на праздник? Но молодость есть молодость! Всем хочется быть красивыми и нарядными. Я принесла свои рваные сапоги старшине, попросила отвезти их в ремонт, взамен получила ботинки 45-го размера.

Началось торжество. Замполит Расщепкин, видя, что меня нет, идет в наш подвал и, отвернув плащ-палатку, громко спрашивает: „Почему?! — но увидел мои ботинки, опустился рядом со мною на нары и мог только произнести: Да...“

Не обходили нас и взысканиями — у меня до сих пор остались неотработанные шесть нарядов вне очереди...»

Дорогая, далекая, милая женщина Парасковья Петровна! Пусть эти наряды вне очереди отрабатывают мужчины, желательнее те, которые их вам вlepили. А я целую ваши руки и в «лице их» целую руки всех женщин, беззаветных наших тружениц, самых стойких, самых терпеливых, самых мужественных героинь войны.

Желаю всем моим собратьям по окопам того же, чего желаю себе на исходе лет: хотя бы сносного здоровья, незакатного солнца на мирном небе, радости во внуках и правнуках...

А благодарная и благородная память, верую, да пребудет с нами вечно!

## О Дне Победы

Для меня, бывшего окопного солдата, День Победы — самый печальный и горький день в году. Уже за несколько дней до праздника мне тревожно, я не могу найти себе мес-

та, мне хочется попросить у кого-то прощения, покаяться перед теми, кто уже сгнил на бескрайних полях России и в чужом зарубежье, молиться Богу, если Он есть, чтоб никогда это больше не повторилось и мои дети и внуки жили бы спокойно, на успокоенной земле, история которой являет собой позор безумия и безответственности перед будущим и прежде всего перед нашими детьми.

Я не могу смотреть телевизор в День Победы. Он забит хвастливой, разряженной толпой каких-то военных парадных кавалеров и краснобаев, обвешанных медалями, и когда среди них провернется, «для разрядки», инвалид-горемыка, показывают документы и кинохронику — слезы душат меня, и я часто, как и многие окопники, хватившие нужды и горя не только на войне, но и после войны, не могу совладать с собой, плачу и знаю, что во многих семьях дети и внуки уже не пускают к телевизору нашего брата — солдата, боясь его слез, сердечных спазм и приступов.

Хвастливое, разухабистое действо в День Победы особенно кощунственно выглядит в исполнении наших генералов и маршалов. Им бы встать на колени посреди России, перед нашим народом, выбитым на войне, и просить прощения за бездарность свою, за холопское исполнение дикой воли главнокомандующего, за браконьерство, учиненное в войну с русским народом. А вот маршал Белобородов, так и не одолевший уровень начальной школы, хотя и «прошел академии», и хвастающийся своим батрацким происхождением, со слезами на глазах вещает о том, как одержал «первую победу» под Москвой, освободив город Истру и как отважные солдаты, по горло в ледяной воде, шли через реку Истру.

Как же этим можно хвастаться? Дело происходит под Москвой. Кругом деревни с деревянными строениями, телеграфные столбы, сады, леса, хоть обмотками бы связать плоты, да просто за бревно держаться, а у него солдаты идут, да не идут (врет он, врет!), гонят их по горло в воде. Его, сукиного сына, надо было судить за такую «победу», а он маячит в телевизоре, бахвалится, и ведь не от одной тупости бахвалится, он упоен опытом «руководства» войсками.

На Днепре переправы были тоже не подготовлены, тоже на «подручных средствах» отважные солдаты плыли на смерть. И сколько их доплыло?.. Я-то знаю, как и сколько, сам плавал и тонул в Днепре... Вот бы и назвали хоть раз правдивые цифры, правду бы сказали о том, как товарищ Кирпоснос в 1941 году бросил пять армий на юге и как 11-я армия Манштейна перебила все, что было у нас в Крыму. Без флота, с отдаленным тылом, оставив на время осажденный Севастополь, «сбежал» Манштейн и под Керчь и опрокинул в море три армии под «героическим» руководством любимца «отца народов» тов. Мехлиса.

...Но этого не будет. Будет гром, музыка, умильные обнимания, подстроенные встречи, «неожиданные» открытия героев и героических дел, прекраснодушие будет, лжепредставление на военную тему и такое, что ущипнуть себя снова захочется и спросить: «Да полно! На какой же войне я-то был?!»

Мой близкий друг Иван Гергель, которого, впопыхах драпая, бросили раненого на поле боя товарищи офицеры, ходившие на рекогносцировку, и которого я уж в последний момент выдернул из-под наступающих танков, понимая, впрочем, опытным нюхом, что они по нам стрелять не станут, не до нас им, двух обмоточных солдатиков, потому как по опушке леса стояли сплошь батареи, брошенные нашими «доблестными» артиллеристами. А вдруг да не все расчеты убегли? Вдруг да лупанут под башню подкалиберным из полуторасотки или из стадвадцатидвухмиллиметрового? Так вот, этот бывший солдатик, полтора года провалявшийся в госпитале, однажды при мне в городе Орске, на своей Родине, насмотревшись телевизора, горько заплакал: «Вот, Витька, как люди-то воевали, а мы че-о-о?..»

Есть и еще мой однополчанин в городе Темиртау — этот уж меня вынул с поля боя, умница, человек прямой, четыре созыва был секретарем райкома, а сейчас большой руководитель, много читающий, думающий, он спросил с обидой меня, глядя на телеэкран: «Когда, Витя, кончат нас унижать ложью? Когда вы перестанете врать?!»

И в День Победы я хотел бы задать тот же вопрос: «Когда нас перестанут унижать ложью? Когда мы перестанем врать? Когда наш многострадальный народ, утопивший фашизм в крови, проложивший и устеливший до Берлина путь телами своими, узнает правду о войне?»...

\* \* \*

Лишь первый День Победы, будучи после госпиталя в городе Ровно, в какой-то убогой нестроевой части, я встретил с восторгом и радостью. Вся последующая жизнь не располагала к радостям. Год от года День Победы для меня становился все горше и печальней — постепенно открывалась страшная правда войны, все ясней, наглядней проявлялись ее последствия. Руководство нашего государства и армии не зря ведь не объявило наши потери во время войны. Они столь огромны и удручающи, что даже при наличии такого огромного, находчивого, бюрократического аппарата счесть их невозможно, исказить — это пожалуйста. Объявлять народу о потерях страшно — сразу делается совестно себя хвалить и прыгать в праздничном хороводе, бряцая разноцветными медальками. Думаю, это — единственная война в истории человечества из пятнадцати тысяч войн, в которой потери в тылу намного превышают потери на фронте. Так сорить своим народом могли только преступники.

Английский писатель Честертон в одной из своих статей заметил, что все победители в больших войнах в конце концов становились побежденными. Отечество наше дало наглядный пример этому умозаключению: десятки тысяч пустых сел (основных поставщиков рядового состава), надлом общества, несколько больных поколений подряд, больных не только физически, но и нравственно, расправа над народом, начавшим прозревать и грозно ворчать, прежде всего над теми, кто побывал «за бугром», увидел воочию, что живем мы и работаем хуже «их», хотя от работы у нас хребет трещит. Я не имею в виду только тех, кого из плена в плен препроводили, уморили в сталинско-бериевских концлагерях,

то есть военный люд. Бедных вдов можно было добить непосильными налогами, уморить голодом, доконать бесправием, сделать крепостными в самом «свободном» государстве.

Двадцать лет никто не вспоминал о нас — фронтовиках, никто не помогал нам, всюду нагло заявляли: «Все воевали — и ничего!» А через двадцать лет вдруг с умилением запели: «Славься!», медальки отлили, брежневскую «паечку» вырешили, позволили без очереди в больницу ложиться и билет покупать. «Спасибо партии родной — дала по баночке одной!» — самолично слышал я песенку инвалида войны в инвалидном закутке магазина. Он пел про «баночку» вполне серьезно, ибо и она для него сделалась благом, и любое внимание вбивало инвалидов войны в умиленную слезу: как же, вот вспомнили, вознаградили по заслугам.

Нашим великим партдеятелям и в голову не приходило, что они остатки победителей (страшно подумать, сколько их поумирало сразу после войны, с улиц же через десять лет исчезли инвалиды) превратили в кусочников и крохоборов, на которых рычал, а то и замахивался остервеневший в очередях, все еще тупо дожидющийся благ и улучшения жизни народ.

«Книга памяти» и вообще всякого рода юбилейные издания, статьи — у нас носят казенный характер. Такие вот жестокие стихи окопного землеройки, написанные зимою 42-го года тех «памятных», ни за что бы не печатали и не напечатывают.

Мы на шарике пустом,  
Мы на шарике земном.  
Под мороженым листом  
В землю брошены зерном.  
Ах, какой холодный шарик!  
Под рубахой ветер шарит,  
Снег не греет, смех не греет  
Греет зуд, собачий зуд:  
Вши от холода звереют  
Кости мерзлые грызут...

Ну вот и добились неизбежного результата: благостно-умильные, юбилейные издания почти никто не читает. И правильно делают люди, добавлю я от себя, очень правильно.

Зачем дорогое время понапрасну терять и запудренные мозги еще больше пудрить, лучше снять с полки книгу классика и сотворить праздник для души.

Я заметил: утомленные и раздраженные наши читатели, живущие трудной жизнью, в бесконечной и жуткой борьбе с нуждой, быстро утомились и «лагерной» литературой. Навидавшиеся страшного в повседневной жизни, они еще больше начали тупеть и глохнуть от этой «лавины», и как это случилось уже не раз с уставшими, растерзанными нуждой людьми, читатели наши непременно потянутся к мелодраме, к сусальничко-сексуальному, бездумному.

Читателям непременно захочется сладенького, красивой сказочки, чтобы забыться, уйти от жуткой, давящей действительности.

И они получают то, чего жаждут. В искусстве всегда было достаточно угодливо расшаркивающихся «творцов-официантов» — «что изволите?»...

\* \* \*

...Во время празднования 1000-летия Крещения Руси в Новгороде я разговаривал с командиром молодежного отряда и с новгородскими парнями, занимавшимися собранием и захоронением убитых в Мясном бору воинов (а там погибло две наших армии). Захоронили за лето пять тысяч трупов, укладывая по четыре скелета в одну домовину (сюжет с захоронением этих костей показывали по Центральному телевидению). Так вот, командир отряда сказал, что ежели убирать трупы такими темпами — только в Мясном бору хватит работы еще на двадцать лет!

Нет, не только порохом пропах этот день...

Братья мои! Бойцы самой Великой и самой страшной войны! Наденьте чистые рубахи, не пейте горькую до потери человеческого облика в этот и без того скорбный день, по-

вспоминайте, помолитесь, кто еще не разучился молиться, не разучился уважать себя и тех, кто спит вечным сном в земле или неприятно, сиротски валяется по лесам и болотам нашей необъятной родины, с большим опозданием, с позором, со стоном вспомнившей о таких утраченных, святых словах, как милосердие и любовь к ближнему своему.

Я призываю своих братьев по окопам, невзирая на ранги, не кривляться в горький День Победы на площадях, не петь «бравых» песен — все это давно уже выглядит кощунственно, а пойти и помолиться за души убиенных на поле брани братьев своих.

*Григорий Бакланов*

## НА ЧЕРНОМ ФРОНТОВОМ СНЕГУ



*Григорий Яковлевич Бакланов (1923 – 2009) родился в Воронеже. В 1941 году был призван в армию. Окончил артиллерийское училище, участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. На январь 1945 года лейтенант, командир огневого взвода 1232-го пушечного артиллерийского полка 115-й пушечной артиллерийской Криворожской бригады. Был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями за взятие Будапешта и Вены, «За победу над Германией».*



## Война

...Теперь и вспомнить стыдно, самому не верится, но мы обрадовались, когда услышали по радио: война. Люди плакали, какие лица были у людей! Даже сейчас, когда смотришь эти старые фотографии — люди под репродукторами слушают заикающуюся речь Молотова, — мороз пробирает по коже.

А мы с Димкой Мансуровым, радостные, побежали в военкомат: вот оно пришло, наше время. Перед военкоматом толпился народ, пьяный цыган в хромовых сапогах с напуском стоял картинно, бил себя в грудь: «Цыгане бьют в тэрц!..» Застряла в ушах эта фраза. Мы все же пробились к какому-то воинскому начальству, сейчас нас запишут, направят, пожмут руку на прощанье...

Нас прогнали. Наш год еще не призывали в армию. Может быть, там, у границ, откуда откатывался фронт, там брали наших одногодков, но Воронеж далеко от фронта. И мысли такой не могло быть, что немцы придут сюда.

Вскоре начали передавать по радио воспоминания солдат Первой мировой войны, побывавших в плену у немцев. Один, помню, жаловался: свеклу пареную приходилось есть... После почти двухлетней дружбы с фашистами трудно было перенастраивать пропаганду на другой лад. Тогда, после приезда Риббентропа в Москву, сразу исчезли с экранов антифашистские фильмы: «Семья Оппенгейм», «Профессор Мамлок».

Решился бы Гитлер вторгнуться в Польшу, начать Вторую мировую войну, если бы мы не обеспечили ему тыл, не заключили с ним договор, по которому Западная Украина и Западная Белоруссия, Бессарабия отходили к нам, если бы, сторговавшись, не благословили его, по сути дела? Что сейчас гадать...

Первого сентября, в первый после каникул день, когда мы шли в школу, на Польшу обрушились бомбы, началась Вторая мировая война. Семнадцатого вслед за немцами вторглись в Польшу мы, начался так называемый освободительный по-

ход. Помню, прочел в газете, как польский офицер с гранатой полз в хлебах подорвать наш танк, «извивался, как гадина, как змея». Нет, мне не хотелось, чтобы подорвали наш танк, но было что-то постыдное, злорадное, нечеловеческое, как писали про этого польского офицера, которого успели застрелить. Не случайно до сих пор помню.

Был у нас ламповый приемник ЭКЛ воронежского радиозавода, его потом отобрали, когда началась война: у всех тогда отобрали приемники. А пока война шла в Европе. Вечерами горело окошко приемника, свист, треск, завывание: это чтобы мы не слышали слова правды про нашу войну с Финляндией. И громко на многих волнах раздавалась немецкая речь, немецкие победные марши. Что мы знали? Ничего мы не знали. Пропаганда наша, насквозь лживая, поддакивала Гитлеру в те дни, а люди душой были с побежденными французами, с англичанами, которых Luftwaffe бомбил ежедневно на их островах, а они не сдавались, с ними мы связаны судьбой, а не с немцами, которые уже завоевали полмира. Это было народное чувство, народное понимание происходящего. Как забыть, что еще недавно добровольцы наши сражались против немецких, итальянских фашистов в Испании? И была подспудная уверенность, что войны с немцами не избежать, чего уж радоваться их победам? Не знали только, что самое тяжелое поражение мы уже потерпели: в 37-м году, когда Сталин фактически уничтожил Красную Армию. Цифры эти и факты сообщали не раз, но их надо помнить и знать, великая трагедия берет свое начало отсюда.

Из 5 маршалов арестовано и расстреляно было 3.

Из 2 армейских комиссаров (= генерал армии) арестован и расстрелян 1 (второй, Гамарник, застрелился, чтобы избежать ареста).

Из 4 командармов 1 ранга (= генерал армии) арестовано и расстреляно 3.

Из 2 флагманов флота 1 ранга (= адмирал флота) арестовано и расстреляно 2.

Из 12 командармов 2 ранга (= генерал-полковник) арестовано и расстреляно 12.

Из 2 флагманов флота 2 ранга (= адмирал) арестовано и расстреляно 2.

Из 6 флагманов 1 ранга (= вице-адмирал) арестовано и расстреляно 6.

Из 15 армейских комиссаров 2 ранга (= генерал-полковник) арестовано и расстреляно 15.

Из 67 командиров корпусов арестовано и расстреляно 60.

Из 28 корпусных комиссаров арестовано и расстреляно 25.

Из 199 командиров дивизий арестовано и расстреляно 136.

Из 397 комбригов арестовано и расстреляно 221.

Из 36 бригадных комиссаров арестовано и расстреляно 34.

В дальнейшем за четыре года войны мы не понесли таких потерь в высшем командном составе. А всего было арестовано, расстреляно, сидело в каторжных лагерях 43 тысячи офицеров и генералов, Красная Армия была обезглавлена, немцы знали это, знали, что восполнить такие потери невозможно.

С 20-го года все должности начальников штабов дивизий и выше в РККА были укомплектованы командирами, окончившими Академию Генерального штаба в царское или советское время. К 22 июня 1941 года только 7,1 процента командиров имели высшее образование.

Генерал армии С. Калинин был назначен командующим Сибирским военным округом. Он принимал дела от капитана: все строевые офицеры от майора и выше были посажены! Из четырех командующих армиями в Киевском особом военном округе двое не имели военного образования. В своих послевоенных воспоминаниях маршал С. С. Бирюзов рассказывает, как он в те самые тридцатые годы, окончив академию, получил назначение в 30-ю Иркутскую дивизию на должность начальника штаба. К его прибытию эту должность исполнял старший лейтенант. И в кабинете комдива сидел тоже старший лейтенант. Все старшие офицеры дивизии были арестованы, командование дивизией вынуждены были принять на себя командиры рот.

Трагедия 41-го года была следствием страшного разгрома Красной Армии, который учинил Сталин в 37-м, 38-м и

последующих годах. И никогда не счесть нам, сколько солдатских жизней пришлось положить, сколько пролито крови, чтобы на войне наши командиры выучились воевать, стали генералами, маршалами.

\* \* \*

Говорят, первой пулей на войне убивают правду. Вот что сообщали нам первые сводки.

«Сводка Главного Командования Красной Армии за 22.VI.1941 года.

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими. Во второй половине дня германские войска встретились с передовыми частями полевых войск Красной Армии. После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только на Гродненском и Кристынопольском направлениях противнику удалось достичь незначительных тактических успехов и занять местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец (первые два в 15 км и последнее в 10 км от границы). Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и населенных пунктов, но всюду встретила решительный отпор наших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших большие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противника».

На следующий день уточнялось: «По уточненным данным за 22.VI. всего было сбито 76 самолетов противника, а не 65, как это указывалось в сводке Главного Командования Красной Армии за 22.VI.41 г.». И мы радовались, что уничтожено, не 65, а 76 самолетов противника, что «противник отбит с большими потерями», да как же не радоваться этим почти что победным сводкам. Еще не прочитывалось, сколько героического (а в большинстве своем это останется безвестным) и какая трагедия уже обозначились между строк. Хотелось верить, верить. И откуда было знать, что уже уничтожены почти все наши самолеты, сосредоточенные на приграничных аэродромах, и это во многом определит ход пер-

вых месяцев войны. Начиная с 26 июня пойдут сводки «От Советского Информбюро». Их слушали, как слушали бы голос господ бога, если бы он раздавался из репродуктора.

Но вот появилось Луцкое направление: «На Луцком направлении в течение дня развернулось танковое сражение, в котором участвуют до 4000 танков с обеих сторон. Танковое сражение продолжается». Искали по карте: где ж этот Луцк? Далеко от границы... Но — радостный слух опережал события: наши разгромили немецкие танки. Теперь пойдут... И ждали, ждали, когда это появится в сводке. Мелькнуло еще раз Луцкое направление, Луцк, но как-то неопределенно, не про то, что ждут. Зато все больше места стали занимать сообщения о том, что красноармеец такой-то обнаружил группу немецких солдат. «15 солдат было уничтожено метким огнем отважного красноармейца». Что «крестьяне Западных областей Украины и Белоруссии с первых дней войны проявляют высокую бдительность». Что «недалеко от села N крестьяне задержали двух подозрительных людей». Это оказались разведчики банды немецких диверсантов. «32 диверсанта были убиты, остальные захвачены в плен». Что «за последнее время в занятых Германией странах патриоты значительно усилили свою борьбу против поработителей». И — новые направления, новые города появлялись в сводках, все дальше, дальше от границы.

Вдруг — слух, пробудивший ярость, он сразу многое объяснил: изменил командующий Западным фронтом Павлов. Вместе с начальником штаба Климовских они бежали к немцам в автомобиле. Но наш танк догнал их на шоссе и расстрелял из орудия. Вот оно, оказывается, в чем дело.

Павлов был командиром танковой бригады в Испании, сражался смело, был удостоен звания Героя Советского Союза. В 40-м году его поставили командовать Западным Особым Военным Округом: на направление возможного главного удара. Именно здесь немцы сконцентрировали в дальнейшем основные силы, отсюда, прорвав фронт, развивали наступление на Москву. Почему на Западный Особый Военный Округ поставлен был Павлов? А некого больше было по-

ставить после всех так называемых чисток, которые прошли в армии. До мая 37-го года этим округом (тогда он назывался Белорусский Военный Округ) командовал талантливейший наш полководец Уборевич. В 37-м году судим, расстрелян. Восемь полководцев проходили тогда по процессу: Тухачевский, Якир, Уборевич, Примаков, Фельдман, Корк, Эйдеман, Путна. Цвет нашего генералитета. Судей тоже было восемь: Буденный, Блюхер, Дыбенко, Белов, Каширин, Шапошников, Алкснис, Горячев. Судьи ненадолго пережили тех, кого обрекали на смерть. Уцелели Буденный и Шапошников.

С 5 июня по февраль 38-го года Белорусским Военным Округом командует уже Белов, один из восьми судей, отправивших Уборевича на расстрел. Но недолгий ему был отмерен срок. С апреля 38-го года Белорусским, теперь уже Особым Военным Округом командует Ковалев. В июне 40-го года на Западный Особый Военный Округ поставлен Павлов. Значение округа, это видно даже по названиям, все время повышалось, уровень командования понижался. Павлов был и остался хорошим командиром бригады, а его поставили командовать округом, то есть фронтом. В первые же дни войны он потерял связь, управление войсками, фактически не знал, что творится на фронте.

После стольких заверений с высоких трибун, сопровождавшихся бравыми песенными заявлениями: «И на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом...», «Встретим мы по-сталински врага!..» — требовалось объяснить народу, что происходит, нужна была жертва, виновник всех бед. Десять дней или целые две недели Сталин пребывал в страхе и полнейшей прострации; один из теперешних историков нашел тому объяснение: у него болело горло... Наконец «верные соратники», сами ни живы ни мертвы, явились к нему (в первый миг он решил — пришли арестовать) и вручили брошенные бразды правления, побудили действовать. И были отозваны с фронта генерал Павлов и его начальник штаба Климовских, обоих судили и расстреляли. ИЗМЕНА! Вот слово, которое объясняло народу все. Оно уже само зрело в народе.

А мы с Димой Мансуровым тем временем спешно проходили медицинскую комиссию в летную школу. Намечался сверхускоренный выпуск, набирали курсантов. Дима был шире меня в плечах, сильнее, но по зрению я прошел комиссию за него. Возвращаемся, чувствуя себя летчиками, идем по проспекту Революции, главной улице Воронежа (бывшая Большая Дворянская), сверху вниз поглядываем на все остальные рода войск, попадавшийся навстречу. Зашли в сад ДК. Выстрел. Бежим туда. Еще выстрел. И вот запомнилось: на песчаной дорожке корчится человек, ноги ободраны, а от головы отстала кожа, но не лохмотьями, а как половинка мяча, наполненная кровью. И там же, на дорожке, — огромная бурая туша медведя, вся сужающаяся к носу, от него — ручей крови. И милиционер с наганом в руке. Это он застрелил медведя.

Сверхускоренный выпуск летной школы не состоялся: возможно, кто-то все же сообразил, что при такой подготовке это будут не летчики, а смертники, как доверить им самолеты, которые все на счету? Однако вот еще на что можно было надеяться: в армию призывали девятнадцатилетних, но тех, кто окончил школу-десятилетку, призывали с восемнадцати лет. И я срочно экстерном начал сдавать экзамены за десятый класс, и учителя соглашались принять, все сдвинулось в жизни. Экзамен по химии принимала строгий наш директор школы Екатерина Николаевна Попова. Мы сидели на скамейке на проспекте Революции, напротив ресторана и гостиницы «Бристоль», на другой скамейке сидел Дима Мансуров, подсказывал мне, потом к нему подсел пьяный и очень веселился.

— Ты на себя посмотри! — негодовала Екатерина Николаевна. — Нет, ты посмотри на себя и на Мансурова! Мансуров идет, я понимаю, от него прок будет. А ты что идешь?

Но аттестат мне был выдан. А в армию нас опять не взяли: нам обоим было по семнадцать лет. И вот тогда мы решились бежать в полк к моему Юре. По нашим расчетам он на-